

КАРМЕН ЛУНА

ОТВЕРЖЕННАЯ
ЖЕНА-ПОПАДАНКА,
или
УНЕСЁННЫЕ МОРЕМ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Кармен Луна

**Отверженная жена попаданка,
или унесенные морем**

«Автор»

2026

Луна К.

Отверженная жена попаданка, или унесенные морем / К. Луна —
«Автор», 2026

Моя пенсия начиналась прекрасно: круиз, море, компот. А закончилась — в трюме военного корабля восемнадцатого века. Без чемодана. Без интернета. Зато с ребёнком на руках, обезьяной в волосах и мужем, который считает меня изменницей. Меня зовут Раиса Евгеньевна, я врач-хирург, 58 лет, разведенка с трагическим бэкграундом. Теперь я — княгиня в теле 22-летней красотки, и, по странному недоразумению, все думают, что я изменила своему мужу-адмиралу. Спойлер: не изменяла. Вообще-то, я только что сюда попала. На дворе 18 век. Муж, к слову, — адмирал Клим. Молодой, мужественный, гордый. И — в ярости. Ребёнок (не мой!) — зовёт меня «мама» и требует кашу. Советник мужа хочет меня казнить. Корабль тонет. Пираты стреляют. Обезьянка ест мои бинты. И где, спрашивается, обеденный буфет? История о том, как перепутать отпуск с восстанием, любовь — с морской болезнью, а вторую молодость — с первой брачной ночью.

© Луна К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	11
Глава 3	14
Глава 4	17
Глава 5	20
Глава 6	22
Глава 7	27
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Кармен Луна

Отверженная жена попаданка, или унесенные морем

Отверженная жена-попаданка, или Унесённые морем

Кармен Луна

Аннотация

Моя пенсия начиналась прекрасно: круиз, море, компот. А закончилась — в трюме военного корабля восемнадцатого века. Без чемодана. Без интернета. Зато с ребёнком на руках, обезьяной в волосах и мужем, который считает меня изменницей.

Меня зовут Раиса Евгеньевна, я врач-хирург, 58 лет, разведенка с трагическим бэкграундом. Теперь я — княгиня в теле 22-летней красотки, и, по странному недоразумению, все думают, что я изменила своему мужу-адмиралу. Спойлер: не изменяла. Вообще-то, я только что сюда попала. На дворе 18 век.

Муж, к слову, — адмирал Клим. Молодой, мужественный, гордый. И — в ярости. Ребёнок (не мой!) — зовёт меня «мама» и требует кашу. Советник мужа хочет меня казнить. Корабль тонет. Пираты стреляют. Обезьянка ест мои бинты. И где, спрашивается, обеденный буфет?

История о том, как перепутать отпуск с восстанием, любовь — с морской болезнью, а вторую молодость — с первой брачной ночью.

Глава 1

Никогда не думала, что встречу старость с бокалом белого и видом на море.

Во-первых, потому что белое мне всегда казалось недовином — как кофе без кофеина, мужчина без фантазии или шоколад без сахара. А во-вторых, потому что на море я никогда не ездила. Совсем. Ни в Турцию, ни в Сочи, ни даже в Анапе не валялась пузом к солнцу. Всё как-то работа, муж, дочка, потом снова работа. Потом не стало дочки, а потом и мужа.

Да, именно в такой последовательности.

Нет, он не умер. Просто в какой-то момент исчез из моей жизни.

Сначала умерла она. В три года. Менингит.

А он — он просто ушёл. К жизни полегче. Где нет больниц, таблеток и женщины, которая больше не улыбается.

А я осталась. С пустыми руками, полными дежурств и хронического одиночества.

И вот теперь — я. Пятьдесят восемь. С хирургической точностью вырезанные мешки под глазами, ощущение усталости, встроенное в позвоночник, и... билет на круиз.

Да, я продала украшения, закрыла накопительный вклад и махнула рукой на «всё равно никому я не нужна, кроме кота, но он сдох в прошлом месяце».

Круиз. All inclusive. Последний глоток воздуха перед окончательной остановкой сердца.

«Приятного путешествия», — сказала девушка на ресепшне и вручила мне карточку от каюты.

А я подумала: спасибо, дорогуша, ты даже не представляешь, насколько оно мне нужно.

И, ты знаешь, всё шло неплохо.

Два дня я валялась на лежаке, пила дешёвое шампанское из пластикового бокала, ела клубнику в шоколаде, пока не начала чесаться, и даже загорела. То есть не загорела, а, скорее, запеклась.

Я снова смеялась. По чуть-чуть. Сдержанно. Как человек, который боится, что за радость опять придётся платить.

А потом пришёл шторм.

Не метафорический, не внутренний — а самый что ни на есть честный, с ветром, грохотом, воплями и капитаном, который орал в микрофон что-то тревожное, хотя я уверена, он хотел просто попрощаться.

Люди бегали, судно кренилось, официанты роняли посуду, кто-то молился, кто-то визжал...

А я просто стояла у борта, вцепившись в поручень, и думала:

Ну вот и всё. Даже на отдыхе не дали полежать спокойно.

Потом был грохот.

Мгновение — и темнота.

И ещё мысль: только бы не в аду, только бы не в аду...

* * *

Я резко села — ну, как резко... как может сесть женщина, у которой внутри почти шестьдесят, а тело вдруг реагирует как у балерины после отпуска. Никаких хрустов в коленях, никакого тянущего низа спины. Руки — тонкие, бледные, как у фарфоровой куклы. Ладони гладкие. Ногти — розовые, без трещинок и заусенцев, как будто их не грызли взахлёб во время ночных дежурств в реанимации.

Я машинально провела пальцами по щеке. Кожа — как крем, нежная, бархатная. Ни одной морщины. Ни одной! Ни сеточки у глаз, ни любимой складки между бровями, которую я десятилетиями выращивала под мужиков, пациентов и цены на коммуналку.

Подняла локон волос — густой, тяжёлый, светлый. И длинный, зараза. Такой, чтобы завивать и мучиться, а не завязать в хвост и забыть, как я привыкла.

Это тело — не моё.

Моё знало, что такое бессонные ночи, кофе на бегу, укольчики в поясницу и компрессы от артрита. А это — нежное, новое, почти нераспакованное. Как дорогая сумка из бутика, которую тебе выдали без чека и инструкции по применению.

— Мамочка, — шепчет девочка, крепко прижавшись ко мне, — ты правда снова будешь со мной? Не уснешь так надолго?

Я смотрю на неё, и у меня внутри что-то обрывается.

Я не знаю, кто она. Не знаю, кто я. И уж тем более не знаю, кто и когда успел нарядить меня в платье из эпохи «приговор за прелюбодеяние».

Но я точно знаю одно: мне нужно срочно понять, что здесь происходит. Потому что в моей голове — заслуженная пенсия, теплоход, расписание экскурсий и гастроэнтеролог в каюте номер пять. А вокруг — трюм. Солома. Корсет. И девочка, которая боится, что я снова усну. Усну... ладно. Про это я подумаю потом.

А я и сама не уверена, что не усну надолго или что не сплю сейчас. Потому что либо я сошла с ума, либо кто-то очень изощрённо пошутил над всей моей жизнью.

И, если честно... Я даже не уверена, чего мне бояться больше.

Я попыталась встать.

Аккуратно, наощупь, как человек, который не уверен: под ним пол или иллюзия. Колени подогнулись — но не от старости, как я привыкла, а, скорее, от страха. Тело было гибким, лёгким, чересчур отзывчивым. Я чувствовала себя как в чужой одежде: вроде сидит красиво, но каждый шов — чужой.

Девочка не отпускала моей руки. Она была теплая, трепетная, и всё время заглядывала в лицо, будто проверяла, не исчезну ли я снова, как, вероятно, случалось прежде. Я не знала, кто она. Но её ладонка в моей — ощущалась пугающе правильно.

— Ты дышишь странно, — тихо заметила она. — У тебя всё ещё простуда?

Я моргнула.

Горло действительно першило, в груди сидел хрип. Значит, здесь я ещё не оправилась от болезни... Правда, КТО не оправился? Я точно не болела в круизе. Лёгкий кашель вырвался сам, глухой, сухой.

— Мне лучше, — сказала я, и голос мой тоже был чужим: выше, мягче, с каким-то благородным послевкусием, будто принадлежал женщине, которую слушали на балах и зачитывали стихи.

Не я. Точно не я.

Я потянулась поправить волосы — и тут...

Сверху что-то скользнуло по плечу. Ловкое. Мохнатое. Прыгнуло с балок и уселось на ближайший ящик. На меня уставились круглые, наглые глаза, блестящие, как пуговицы на мундире.

— Эм... — только и выдала я.

Обезьянка.

С жёлудём в лапках, с ошмётками ткани в зубах и выражением «чего уставилась, двуногая?» в каждом движении.

— Это Оскар, — спокойно сообщила девочка. — Он со мной дружит. Иногда.

Оскар наклонил голову, быстро обнюхал воздух, потом закинул голову, открыл рот и... чихнул. Прямо мне в лицо.

Я, между прочим, врач. Я знаю, сколько заразы может нести в себе мелкое пушистое создание с влажным носом. И всё же я осталась неподвижной, потому что — ну, чего уж. На фоне всей этой шизофрении обезьянка — самое логичное.

— Он забрал твою ленту, — добавила девочка, почти извиняясь. — Наверное, думает, что она вкусная.

Я медленно, очень медленно опустила взгляд — и увидела, как Оскар азартно жует розовую шелковую ленту, которую, судя по всему, только что вытащил у меня из волос.

Прекрасно. Очередной минус к карме: милая девочка, болезнь, тело незнакомое, обезьянка вороватая, а я — в чьей-то жизни, как слон в аптеке.

И всё это — до первой чашки кофе. Хотя... нет. Ни кофе, ни аптеки. Только солома, корсет, шерсть и кашель.

Может, я всё ещё сплю?

Хотя если это сон — пусть кто-нибудь уже поменяет сценариста.

Я обернулась к двери.

Старая, деревянная, с ржавыми петлями и щелью у основания, через которую тянуло холодом, сыростью и... чем-то мясным. Снаружи было не то чтобы лучше — судя по звукам, корабль жил своей бурной жизнью. Где-то сверху скрипели канаты, кто-то грубо ругался, металл глухо ударялся о дерево. А у меня было только одно желание: выйти. Найти зеркало. Или календарь. Или будильник, который меня разбудит.

Я сделала шаг. Юбка тяжёлая, корсет давит в грудь, но ноги шли легко. Слишком легко. Будто привыкли к этому полу, к этой походке. Будто они — не мои.

— Ты к папе? — радостно спросила девочка, подсакивая ко мне, как маленький цветок на ножке.

Я застыла.

Если она сейчас скажет ещё, что папа — это какой-нибудь генерал, или, чего доброго, сам Пётр I, — я выскочу за борт и поплыву обратно в XXI век вплавь. В халате. С тапками.

— Эм... — начала я. Коротко, нервно. Универсальный звук, который может значить всё: от «да, конечно» до «позовите санитаров».

— Ты же вчера пряталась, мама. Мы дальше играем? Или уже всё? — Она спросила с надеждой, крепче сжимая мою руку.

* * *

Я выглянула наружу аккуратно, как мышь из-под плинтуса — только в платье и корсете. Сначала высунулась одна рука, потом голова, потом вся я, поэтапно, как товар на распродаже.

Солнечный свет хлестнул в лицо так, что я чихнула и едва не свернулась обратно в темноту. Но поздно.

— ОЙ, МАТЬ БОЖЬЯ! — заорал кто-то сверху.

Я замерла. И только потом поняла, что все, ВСЕ, кто находился на палубе — а их там явно было не меньше взвода — повернулись ко мне как один.

— Княгиня? — растерянно выговорил ближайший матрос.

— Она же в поместье осталась! — другой недоверчиво вытянул шею.

— Тише ты, — одёрнул его товарищ, испуганно оглянувшись на штурвал.

Следующая секунда прошла в тишине.

А потом кто-то уронил ведро, кто-то споткнулся о якорную цепь, а кто-то крестился так быстро, что едва не вывихнул себе кисть.

— Тащи её, пока не упала обратно, — прошипел один матрос.

— Только аккуратно! — зашептал другой. — А то потом скажут — убили...

Я даже слова не успела вставить, как ко мне уже кинулись два парня — один ухватил за локоть, второй за корсет (извините, что?!), и вот уже я вылетаю на солнечную палубу, как поздняя капуста из повозки, прямо под одобрительный гул моряков и чей-то возглас:

— Жива!!! Но что-то больно бледная! — Матрос крикнул с таким облегчением, будто ждал совсем другого.

А ещё через секунду...

Матросы отпустили мои локти, и я едва удержалась на ногах. Ветер подхватил юбку; десятки незнакомых глаз следили за каждым моим движением.

Я сделала шаг, ещё один. Девочка прижалась сбоку, маленькая рука крепко сжала мою. Я не знала, куда смотреть, куда идти и кто из всей этой формы командует.

Но он стоял прямо передо мной.

Высокий, безупречно выпрямленный, с рукой, лежащей на эфесе шпаги, и таким лицом, что по нему можно было изучать строевую выправку. Он не закричал. Не бросился. Просто смотрел. Долго. Прицельно... Он стоял у штурвала, как воплощённая военная поэзия: загорелый, плечи широкие, форма строгая, будто с рекламного портрета. Волосы тёмные, немного растрёпанные ветром. Глаза... холодные. Настолько холодные, что Северный Ледовитый в сравнении с ними — курорт для пенсионеров.

Он посмотрел на меня. Прямо. Без эмоций. Без удивления. Просто как на неприятное воспоминание, которое внезапно материализовалось в полный рост.

В груди что-то дрогнуло.

Нет, не бабочки. У меня для них возраст не тот, да и не сезон. Но вот что-то... сместилось. Встрепенулось. Потому что он был... красивый. До обидного. До глупого. До «ну за что мне такое наказание?».

И что-то в его взгляде... было личным. Ледяным. Ломким. В нём не было вопросов — только выводы.

Он шагнул ближе. По палубе пронеслось напряжение, как гул далёкого грома.

— Какого чёрта ты здесь делаешь?

Голос у него был ровный, глухой, но в каждом слове — удержанная ярость. Не вспышка, нет — огонь, прикрытый слоем льда, как у хорошо натренированного палача. Без истерик. Без лишнего.

Я сглотнула.

Он... знал меня.

— Я... — начала я, не зная, что вообще можно сказать в такой ситуации. “Извините, у меня отпуск начался странно”? — не подходило.

— Ты должна быть в Угринском поместье, под присмотром, под надзором. — Он смотрел в упор, в самую душу. — Ты была изгнана. Три года назад.

Он подчеркнул последнее. Каждое слово било по вискам.

— С ребёнком, — добавил он с таким тоном, будто говорил о контрабанде. — С девчонкой, которую ты пыталась назвать моей дочерью.

Я застыла. Рядом девочка сжалась ещё крепче.

Он перевёл на неё взгляд. На секунду. И отвёл. Холодно. Так смотрят не на ребёнка. На вещь, которую не заказывали.

— Кто впустил тебя на мой корабль? — Он смотрел на меня всё жёстче.

Я молчала. Потому что не знала, как сюда попала. Потому что ещё пару часов назад думала, что нахожусь в круизе с группой сердечников и экскурсоводом-истеричкой.

— Так и знал, — раздалось сбоку, ядовитое, скользкое. — Сюрприз, ваше сиятельство. Любовь, как говорится, найдёт путь... даже на военное судно.

Говоривший был худощав, в узком камзоле и с лицом, созданным для сплетен. Он смотрел на меня с выражением, будто только что увидел таракана в пирожке — и собирался распробовать до конца.

— Скуратов, — бросил капитан холодно, даже не глядя на него. — Молчите. Пока я не велел говорить.

Скуратов молча поклонился, но уголки губ его всё равно подрагивали от еле сдерживаемой насмешки.

Я чувствовала, как у меня слабеют колени. Корсет давил в грудь, девочка дрожала рядом, а над головой кто-то негромко хрюкнул.

Сверху, по канату, с грацией комичного беса, соскользнула обезьянка. Та самая. Моя, как я думала. Она плюхнулась рядом на тюк, деловито почесала ухо — и кинула ленточку мне под ноги.

— Оскар, ко мне, — негромко приказал капитан. Обезьянка вздрогнула, поднялась и... послушалась.

Я смотрела, как она, моя трюменная подружка, запрыгивает на плечо к нему. К капитану.

Он — её хозяин.

Он — командует и ей, и людьми, и морем.

А я? Я не знаю даже, как меня зовут в этом теле.

— Уведите в каюту для гостей, — распорядился он спокойно, без лишних эмоций. — Я сам её допрошу.

И ушёл.

Не бросив ни взгляда на девочку.

Ни одного.

Глава 2

Когда дверь с резным латунным замком щёлкнула за нашей спиной, я наконец выдохнула. Не облегчение — скорее, остатки воздуха, что чудом задержались в лёгких после всей этой вакханалии. Каюта оказалась неожиданно просторной — по меркам судна, конечно.

Полы — натёртые сосновые доски, местами кривые от старости и морской влаги. Потолок низкий, с массивными балками, от которых свисали подвесные фонари. По левому борту — резная койка с высоким изголовьем, застланная покрывалом с гербом флота: двуглавый орёл в венце из якорей. Рядом — навесной шкафчик из тёмного морёного дуба, с потёртыми медными ручками в виде дельфинов.

У стены стоял письменный стол с инкрустацией, целая империя из ящиков и секретеров, на котором аккуратно разложены навигационные приборы: секстант, портолан, циркуль, какие-то перья и бутылка с густыми чернилами. У стены — офицерский сундук, приоткрытый, с аккуратно сложенными мундирами. Возле двери — подвешенная на крюке шпага в ножнах, явно не бутафория.

Но главной чертой комнаты был иллюминатор. Один. Круглый, мутный от соли, с видом на море. Через него проникал тусклый свет, от которого тени казались длиннее, чем следовало бы.

Девочка сидела на сундуке, уткнувшись лицом в колени. Она не просто молчала — вздрагивала всем телом, как котёнок, которого только что прогнали из тёплого дома.

— Зайка... — я села рядом, осторожно. Корсет мешал, но я приспособилась. — Не плачь. Мы не виноваты.

Она всхлипнула.

— Почему... — голос у неё был сиплым, едва слышным, — почему тот... дядя кричал на нас? Он злой?

Я обняла её.

— Он... не понял, кто мы. — Это было ближе всего к правде, которую я могла ей выдать. — Он просто испугался. Иногда взрослые пугаются и становятся... не очень хорошими.

— Он папа? — Девочка подняла на меня растерянные глаза.

Я замерла.

В груди сжалось. Я не знала, что сказать. Не знала, кому он папа. Кому был. Кого прогнал. И почему это всё теперь на мне.

— Я рядом, — прошептала я. — Главное, что я с тобой.

Она прижалась крепче.

Когда её дыхание стало ровнее, я встала. Медленно, пошатываясь. Оглядевшись, я подошла к шкафчику у стены — он слегка приоткрыт. За деревянной створкой — крошечное, но настоящее зеркало, овальное, в резной бронзовой оправе, с пятном от времени на краю. Но всё же... зеркало.

Я заглянула.

И замерла.

На меня смотрела девушка. Молодая. Тонкая. С идеальной кожей, чуть покрасневшими щеками, длинными пепельными волосами, собранными небрежно, но красиво. Серо-голубые глаза — с оттенком стали. Высокие скулы. Полные губы. Гордая линия подбородка.

Я не узнала себя.

Вообще.

Раиса Евгеньевна, хирург из Москвы, женщина с лишним весом, шрамами от операций и кругами под глазами — исчезла.

А вместо неё — аристократка, будто вышедшая из парадного портрета. Княгиня. Та самая, которую этот капитан, адмирал, командующий кораблём — ненавидел.

Я провела пальцами по щеке. Она была горячей. Живой. Не сон.

— Кто ты? — прошептала я своему отражению.

И зеркало... не ответило.

Каюта утопала в тишине. За иллюминатором бесновалось море, ветер свистел в снастях, судно жило своей громкой, шумной жизнью. Но здесь, в деревянной коробке с потемневшими стенами, было всё слишком тихо.

Я сидела на краю койки. Девочка — свернувшись клубочком рядом. Она прижалась, словно чувствовала, что я — единственное, что у неё есть.

Дверь отворилась мягко, почти беззвучно.

Он вошёл.

Рост. Осанка. Манера двигаться — точная, размеренная, будто он шагал по парадному залу, а не по кораблю, покачивавшемуся на волнах. На нём — тёмно-синий камзол, застёгнутый строго. Волосы гладко зачёсаны. Ни одного лишнего жеста.

— Добрый вечер, мадам, — произнёс он, и голос его был бархатным... если бы бархат был нашит на стали.

Я подняла глаза. Впервые смотрела на него внимательно, а не как на гневного призрака. Его лицо было безупречно выточено, как бюст римского сенатора. Высокие скулы, строгий прямой нос, губы, сжатые почти в ниточку. И глаза — серые, как штиль перед штормом.

— Не считите моё появление бестактным... уж куда мне по бестактности до вас, — продолжил он. — Но я счел необходимым задать вам несколько вопросов. Мы не виделись три года. Ваше внезапное появление на борту моего корабля требует объяснений.

Я сглотнула. Молчала.

— Позволю себе напомнить, — продолжил он так же спокойно, — что после скандала, сопряжённого с... некоторыми обстоятельствами, вы были отосланы в Угринское имение. Под надзор.

Он прошёлся по каюте, не глядя на меня. Руки за спиной. Плечи прямые, как у парадного портрета.

— Я не получал вестей от вас. Ни просьб. Ни раскаяния. И был уверен, что вы, Анастасия, вняли моим словам. Однако теперь вы — здесь. С ребёнком.

Он произнёс это последнее с паузой. Не грубо, не резко. Но так, что от этих двух слов у меня внутри всё съёжилось.

— Поясните, — сказал он, повернувшись ко мне. — Как вы оказались на борту «Северного льва»? И кто из моих офицеров содействовал вам?

Я пыталась найти хоть одну правдоподобную версию происходящего. Хотела выдать всё: что я не она, что я — врач, что у меня была жизнь, Москва, кофе, метро, аптечки...

— Простите, — выдавила я. — Я... плохо себя чувствовала. Очнулась здесь. Словно... во сне.

На его лице не дрогнул ни один мускул.

— Во сне, — повторил он почти задумчиво. — Интересно. Три года вы провели в тишине. И теперь возвращаетесь... внезапно. На военный фрегат. В сопровождении ребёнка, которого столь рьяно называли моей дочерью, когда в последний раз стояли передо мной с такими же слезами лжи.

Я не знала, что страшнее — его спокойствие или то, что он обвиняет меня в том... чего я совершенно не знаю. Мне надо об этом подумать не то я с ума сойду.

— Позвольте напомнить, мадам, — сказал он, — по церковному закону вы всё ещё моя супруга. Но между нами всё давно окончено. Вы изгнаны. Я не желал видеть вас. И уж тем более — видеть вас здесь.

Он подошёл к двери.

— До моего решения вы останетесь в этой каюте. Будете снабжены едой, водой, всем необходимым. Лиза, — он едва бросил взгляд на девочку, — останется с вами. И следите, чтоб ребенок не бегал и не лазил где попало.

Он взялся за дверную ручку. И бросил, уже не глядя:

— Не пытайтесь вновь коснуться прошлого. Оно сгорело. И его пепел — на вашей совести.

Он ушёл.

Оставив после себя ледяной след на моей душе, в воздухе, в груди.

А я сидела, прижимая к себе девочку, не зная, чью жизнь мне теперь надо прожить. И хватит ли на это — моей чужой души.

Глава 3

Я проснулась не от шума, не от крика, не от храпа — от тишины. Такой звенящей, как перед выстрелом. Тишины, в которой было слышно, как скрипит в такт качке старинный шкаф, как стонет дерево под ногами корабля, и как моё новое сердце стучит — молодо, уверенно, слишком не по-моему.

Осторожно приподнялась. Рядом, свернувшись калачиком, спала Лиза — кудрявая, теплая, с носом, уткнувшись в подушку. Дышала прерывисто, как котёнок.

Я накрыла её одеялом повыше — инстинктивно, не думая, не рефлексирюя. Как будто всегда так делала. Как будто это действительно моя дочь.

Потом посмотрела вокруг.

Каюта, в которую нас определил тот угрюмый, чертовски красивый адмирал, при утреннем свете выглядела уютнее. Медный таз в деревянной подставке, резной шкафчик, стол с потёртой столешницей. Единственное зеркало поблёскивало за дверцей шкафа. Роскошь весьма относительная, но после соломы в трюме — почти дворец.

Я медленно села, нащупала свои — нет, не свои — бёдра под тонким покрывалом. Они были гладкими. Упругими. У них не было целлюлита, растяжек, сосудистой сетки и привычного следа от резинки после медицинских колгот. Я ощутила это и сжала челюсти.

Не мои. Чужие. Идеальные. Противно идеальные.

В голове звенело, как после наркоза. Всё происходящее казалось плохо прописанным романом, где автор — явный садист, но с чувством вкуса. Только я была не героиней, а заложницей сюжета.

А за окном — качалось море. Медленно, неторопливо. Как кот, играющий с добычей.

Солнце скользило по воде, вырезая блики, похожие на клинки. И всё это — и корабль, и девочка, и корсет, в который я теперь впихнута судьбой — казалось декорацией.

Сном. Театром. Фантазией, с которой кто-то перестарался.

И всё же...

Когда Лиза во сне потянулась ко мне, как к единственной в мире — я поймала себя на том, что не хочу, чтобы это был сон. Даже если он не мой. Даже если я в нём просто дублёрша.

И чёрт с ним, что лицо чужое.

Если эта девочка — моя хотя бы на время...

Я сыграю. Я справлюсь.

Пусть это будет мой самый странный день дежурства. Но, чёрт возьми, я хирург, а не трус. И если уж жизнь решила мне подбросить такую операцию — я её проведу. Без наркоза, без права на ошибку, но с чётким пониманием:

отступить некуда — за мной ребёнок.

Лиза зашевелилась в постели, зевнула так широко, что чуть не свернула себе шею, потёрла кулачками глаза, вынырнула из одеяла — и посмотрела на меня. Прямо. Без страха. Без сомнений. С той самой, безоружной и безапелляционной уверенностью, с какой смотрят только дети и бездомные котята.

— Мамочка... — пробормотала она сонно, и я сжалась от неожиданности, как лягушка под молнией.

— Ты больше не болеешь? — Она тревожно заглянула мне в лицо.

— Ты так долго спала... — продолжила она, и, Боже милостивый, как же она это сказала! Не с обидой. Не с тревогой. А с привычной детской констатацией факта.

Как будто «спала» — это диагноз, а «не болеешь» — долгожданное выздоровление.

Я приподнялась, подставив спину под утренний свет, и натянула улыбку. Она вышла косая, нелепая, будто её вырезали из марли и приклеили на скотч.

Но Лиза не заметила. Или сделала вид, что не заметила. Что-то прошептала, потянулась ко мне и вдруг — взяла и обняла.

Просто. Без объяснений. Без разрешения.

Обняла, прижалась — тёплая, мягкая, пахнущая подушкой и ванилью — и выдохнула: — Я тебя люблю.

Я села, как копьём пробитая. В переносном, но не менее эффектном смысле.

Руки сами легли на её плечи, осторожно, как на стеклянную куклу. Я провела пальцами по кудрям — спутанным, шелковистым, немного влажным от сна. Они оказались почти такими же, какими были у моей... моей девочки. Моей Нади. Моего солнца, которое сгорело слишком рано.

И что-то внутри меня — не сердце, не мозг, не материнский инстинкт, а какая-то древняя, упрямая, как старуха на базаре, часть моей души — вздрогнула. Зашевелилась.

Я не знала, кто эта девочка на самом деле. Не знала, где кончается моя жизнь и начинается чужая.

Но в этот момент, с её ладонью, прижатой к моей груди, с её дыханием, горячим, как чай, и с этим «мамочка» на губах — мне вдруг стало не всё равно.

Ни на неё.

Ни на себя.

Ни на этот корабль, эту эпоху, эту фальшь.

Пусть всё вокруг — декорация. Пусть тело чужое, имя — липовое, а судьба — запутанная, как кружева на ночной сорочке.

Но она — реальна.

Тёплая. Доверчивая.

И сейчас — моя.

И мне впервые за очень, очень долгое время захотелось остаться.

Не выжить. Не сбежать.

Остаться.

Хоть на один день.

Хоть в этом теле.

Хоть в этой, чёрт побери, сказке без инструкций.

Зеркало молчало. Как и положено приличному зеркалу на корабле. Ни тебе совета, ни даже язвительного замечания. Просто отражение — и всё. Лицо, гладкое, словно его отфотошопили небесной канцелярией: кожа, белее которой только меловая доска, глаза — серо-голубые, будто облака собрались на чаепитие. Брови — как выведенные под линейку, ресницы — что у коровы на модном дефиле. Всё при мне, всё симметрично, всё... не моё.

Я смотрела в глаза этой женщине, что таранилась на меня с позолоченной рамы, и не могла понять: она — кто? Маска? Или уже я?

Может, в какой-то момент я просто перестала быть Раисой — уставшей женщиной в белом халате, которая когда-то мечтала о тёплом доме, горячем чае и тихом счастье?

Может, я теперь и есть она — княгиня с лицом аристократической муки, с талией осиной и прошлым, в котором есть измена, изгнание и дочка, которую не признаёт собственный отец?

Фальшь.

Я ведь чувствую её.

На кончиках пальцев, в каждом взгляде команды, в этих роскошных кружевах, что мешают дышать не только из-за корсета.

Но... эта фальшь стала бронёй. Толстой, надёжной. Я ею закрываюсь, как раненая кошка — газетой на обочине.

Вот только броня эта трескается.

На удивление быстро.

Словно чужая жизнь, что натянули на меня, как платье из бутика — оно сидит слишком хорошо. Так, что становится страшно: а если сшито по мне?

Я отвернулась от зеркала — оно всё равно не скажет, кто я теперь.

Села у окна.

Море за стеклом покачивалось, как мудрый старик, что всё видел, всё знает, но молчит — пусть сама додумается. Волны лениво гладили борт корабля, и мне вдруг показалось, что это не просто вода. Это время. Которое идёт. Неумолимо. Без жалости. Но — даёт шанс.

Когда-то, давно, я поклялась себе: не чувствовать.

После того как сердце разорвалось от маленького гробика и мужчины, который не смог вынести мои слёзы.

Я превратилась в механизм. В точного, резкого, бесстрашного врача. Лечила других. Сломала себя.

А теперь...

Теперь я в чужом теле, в чужой эпохе, с девочкой, что зовёт меня мамой, и с адмиралом, чьё молчание режет больнее скальпеля.

И я — хочу чувствовать.

Хочу пугаться, смеяться, обнимать, кричать, плакать.

Я жажду этого. Страшно до дрожи, до злости, до желания разбить зеркало — но жажду.

Я не знаю, кем была эта Анастасия.

Я не знаю, кем стану завтра.

Но я знаю, кем могу быть сейчас.

Матерью.

Для неё.

Для той девочки, что доверяет мне, даже не зная, что я не та, кого она ждала.

Я не вслух.

Про себя.

Просто, отчётливо:

— Пока я здесь, эта девочка не будет одинока. Никогда.

И пусть мне даже не суждено остаться — я не уйду, пока не стану ей родной. Настоящей. Даже если придётся играть роль до конца. Я уже в этой пьесе. И сыграю чёртову главную партию.

Глава 4

Ночь... была из тех, что обволакивают. Не душат — нет, для этого надо хотя бы немного жизни. А тут — тишина, вязкая, как патока, и тёмная, как совесть у взяточника. Лиза сопела где-то рядом, свернувшись в клубочек, как котёнок на подоконнике. Её дыхание было таким равномерным, что я ловила себя на зависти — когда я в последний раз дышала вот так? Без страха, без мыслей, без оглядки?

Я лежала, уставившись в потолок с массивными деревянными балками, и думала.

Нет. Это даже не были мысли — это был целый парад, марш-бросок, карусель.

И всё крутилось вокруг одного имени. Надя.

Я не произносила его... Сколько лет? Пятнадцать? Двадцать? Сначала потому что было больно, потом потому что не имело смысла, а потом — потому что забыла, как звучит мой голос, когда я его говорю. Он был другим. Не таким, как у хирурга, не таким, как у женщины, которая в одиночку вытаскивает ночное дежурство. Он был — тёплым. Живым. Настоящим.

Имя моей дочери.

И чем сильнее я пыталась прогнать его, тем ярче оно всплывало. В простынях, в узоре на шторах, даже в звуке капли, упавшей с балки — всё вдруг звучало, словно она рядом.

В груди сжалось.

Так, что я подумала — или сейчас я что-то сделаю, или тресну пополам, как пересушенный сухарь.

И я поднялась.

Неуверенно, на цыпочках, чтобы не разбудить спящую девочку, которая — как ни странно — тоже была теперь «моя».

Я подошла к столу, зажгла свечу, и тень на стене тут же превратилась в нечто ведьминское — с длинным носом, ломаной спиной и поднятой рукой.

Даже свеча трепетала, как будто знала, что сейчас будет не просто запись в дневник.

Сейчас будет экзорцизм. Душевный.

Я нашла перо, чернильницу, и лист бумаги с тиснённым краем — настолько тонкий, что он почти дышал.

И села.

Я не знала, как писать такие письма. Никто не учит, как писать тем, кого нет. Но слова вдруг сами стали появляться. Нет — вылезать, выползать, как те самые раны, что казались давно зарубцевавшимися.

«Наденька...»

Перо дрожало в пальцах.

«Я так давно не говорила с тобой.

Так давно не была живой рядом с тобой.

Прости, что после твоей смерти я словно ушла следом.

Я осталась жить, но не была с тобой ни в одной своей минуте...»

Бумага впитывала чернила, как земля — слёзы. А я писала. Всё. Без цензуры. Без защит. Без костюма хирурга и бронежилета из сарказма.

Писала о боли. О том, как кричала, когда её не стало. Как ненавидела Бога, врачей, себя.

Как проклинала мужа, который сдался.

Как перестала себя чувствовать человеком.

А потом...

Потом вдруг захотела сказать ей, что... я жива. Ещё. Что у меня есть маленькая девочка с такими же глазами. И что я снова чувствую. Боюсь — но чувствую.

Что, может быть, можно — не забыть. Но жить.

Свеча мигнула. Пламя вздохнуло.

И я поняла: да, это прощание.

Не навсегда. Но настоящее.

И это письмо... оно не ей.

Оно мне. Той, которую я забыла.

Я дописала последнюю строку.

И впервые за много лет — стала легче.

Я сложила письмо так аккуратно, будто заворачивала в него не лист бумаги, а последнюю живую память о своей дочери. Нет, даже не память — прикосновение, то самое, что ускользает, как сон, как запах любимых духов, как голос, который вот-вот забудешь. Бумага шуршала под пальцами, как прошептанное прощание. И каждая складка резала воздух между нами — мной и той, кого я больше не увижу.

У двери я столкнулась с вахтенным. Он поколебался, но отступил: адмирал велел не выпускать нас, однако запрет явно не был рассчитан на женщину, которая просит лишь постоять у борта. Матрос остался у трапа, откуда видел и меня, и дверь каюты.

Я вышла на палубу босиком, не раздумывая.

Ступни почувствовали прохладу деревянных досок, как будто корабль принял меня в свои объятия. Небо висело над головой — чёрное, густое, как чернила, звёзды рассыпались по нему, как сахар на пригоршне черники. Ветер был мягкий, как шаль забытой бабушки, и пах не солью — а покоем. Тем самым, которого мне не хватало много лет.

Я встала у борта. Сжала письмо в руке. Оно было тёплым, почти живым.

Словно сейчас — скажи только нужные слова, и оно вспорхнёт в небо, в другое время, в другую жизнь.

Я закрыла глаза.

— Наденька...

Шёпот был тише ветра.

— Прости меня. Я так долго молчала. Я думала, что если не говорить — будет не так больно.

Глупая. О, какая же я была глупая...

Я не знала ни одной молитвы, подходящей к моменту.

И потому шептала то, что рождалось само, без святых цитат и церковных канонов:

— Будь там, где тебе тепло. Где тебя ждут. Где ты улыбаешься. И знай: я всё ещё... помню. Всё ещё люблю.

Письмо дрогнуло в пальцах. Я разжала руку.

Оно скользнуло в темноту, упало, как белая снежинка, как маленький призрак, как напоминание о том, что любовь всегда по-настоящему жива. Волны подхватили его — и забрали. Не спрашивая. Не обещая вернуть.

И тишина...

Потому что в эту пронзительно красивую, глубокую, почти сакральную минуту за моей спиной раздался топот.

Не просто шаги — целенаправленная походка великого хулигана.

Я обернулась — и, конечно же, там сидел Оскар.

На бочке. Как на троне. Важный, как губернатор в театре.

И, пока я только успела округлить глаза, эта демоническая тыква в шкуре примата вытащила из-за спины украденную у меня чернильницу — да не абы как, а с видом мстителя — и с диким воинственным визгом швырнула её за борт!

Плеск.

Бульк.

И абсолютная тишина.

— ОСКАР! — прошипела я, хватаясь за перила, — ты... ты... ты исчадие барочного ада!

— Ушёл бы ты к черту с таким пониманием ритуалов!

Он посмотрел на меня с глубокой, вселенской серьёзностью.

Повернулся.

И пошёл по канату — плавно, важно, грациозно, как святой покровитель хаоса, исполнивший свой долг.

Я смотрела ему вслед. Потом на воду. Потом снова на бочку.

И вдруг — рассмеялась. Тихо. В голос. С облегчением.

Потому что, возможно, именно это мне и было нужно.

Не только прощание.

Но и напоминание: жизнь продолжается.

И в ней — место для письма...

И для обезьяны.

Глава 5

Как я вообще выжила после всего этого — не спрашивайте. Но с утра у меня была одна-единственная цель: привести себя в порядок. Ну хотя бы на вид. Ну хотя бы снаружи. Ну хотя бы притвориться, что я не та самая женщина, которую позавчера выволокли из трюма с лицом варёного осетра и шизофазией в глазах.

С чего начинается день приличной дамы восемнадцатого века? Нет, не с кофе и мыслей о смысле жизни. С корсета. Корсет. Эта чудовищная конструкция из адских ремней и кружев, чьё существование может объяснить только мужчина с садистскими наклонностями и страстью к пыточным устройствам.

Я тянула шнуровку, как моряк канат во время шторма. Корсет шипел, натягивался, сопротивлялся, будто знал, что я — не его хозяйка. Он душил, сжимал, придавал талии осиную хрупкость и мозгу нехватку кислорода.

Я не одевалась — я воевала. Причём без союзников.

Юбки... Господи-Боже-и-Пресвятая-Петля-на-Парусах! Юбки были отдельной сущностью. Тяжёлые, капризные, многослойные, как лук, только без слёз, потому что плакать было уже поздно. Они отказывались подниматься, путались, топтались на месте и, кажется, шептали: «Ну-ну, выкуси, цивилизация двадцать первого века!»

Нижняя сорочка... Ах, это диво моды! Она сидела так, будто пыталась совершить самоубийство через меня. Падала, путалась, задиралась в самых неподходящих местах и намекала, что в этом мире я давно уже не в своей тарелке — скорее, в чужом фарфоре с золотым ободком.

И всё это — на фоне качки!

Палуба ходила под ногами, как пьяный джентльмен на балу. Мой таз стремился в одну сторону, плечи — в другую, и только остальная я пыталась держать центр тяжести и не повторить путь Титаника.

А теперь внимание: душа тут нет. Ни ванной, ни крана, ни даже проклятого тазика с лейкой. Умывание представляло собой танец с кувшином, тазиком, полотенцем, и всей линейкой русской лексики от «мать моя женщина» до «да чтоб ты лопнул, проклятый подол!»

Я ополоснулась как могла — то есть локально. И в процессе чуть не утопила свои же волосы. А они, надо сказать, были длинные, тяжёлые и явно не сговорчивые. Я не расчесывала их, я уговаривала. С материнской нежностью и угрозам.

Наконец, я, всё ещё живая, вся в мыле, воде и истерике, выпрямилась перед зеркалом — и увидела боевую княгиню в смятении.

Шея красная. Щёки румяные. Глаза яркие. Платье — на мне. Побеждённое. Безусловно.

Я стояла посреди каюты, тяжело дышала и сказала вслух, медленно, с выражением:

— Всё. Я капитулирую. Мода восемнадцатого века — победила.

Можно мне теперь просто халат, тапочки и плач в углу?

И в этот момент из-за шкафа, как по заказу, выглянула морда Оскара. Он кивнул. С сочувствием.

И я поняла: да, я точно на этом корабле не одна такая.

* * *

Юнга, принёсший завтрак, представился Йосиком. Он же устроил нам баню: отгородил угол палубы парусиной и натаскал воды. Лиза осталась за ширмой с куклой, а мальчишка обещал не подпускать матросов. Я понадеялась, что двенадцатилетний часовой сумеет справиться с целым флотом. Зря, наверное.

Когда я увидела эту бочку, первая мысль была: «Вы шутите, да?»

Вторая: «Они не шутят».

А третья, самая искренняя: «Где тут инструкции по эксплуатации этой посуды и в кого я могу кинуть мылом, если утону?»

На вид это было величественное нечто, с виду напоминающее то ли кадку для солений, то ли тот самый чан, в которых в сказках варят ведьм и забывают приправить. Дубовая, лоснится от старости, наполнена водой, подогретой до состояния «можно не умереть, но и не расслабиться», и стояла она на палубе с видом, будто собиралась участвовать в параде по случаю моего морального падения.

— Ваша баня, госпожа, — сказал юнга с таким видом, словно вручал мне бриллиантовую корону.

Я глянула на него. Потом на бочку. Потом на небо, в котором явно не хватало молнии, чтобы подтвердить драматизм момента.

— Конечно, — выдохнула я. — Только полотенце мне подайте... и, если не трудно, новый образ жизни.

Убедившись, что за ширмой никого нет, кроме Лизы, я сбросила платье, стиснула зубы, как перед холодной клизмой, и полезла в бочку.

Грациозно, как гусеница на льду.

С чувством, что сейчас случится или омовение, или открытие второго Мирового океана.

Вода обняла меня неожиданно приятно — горячо, с паром и ароматом трав, которых я не знала, но которым доверилась, как врачу-анестезиологу перед операцией.

Я осела по плечи, выдохнула — и впервые за всё это сумасшествие с попаданками, трюмами, адмиралами и обезьянами мне захотелось не думать. Просто — не думать.

Но стоило мне прикрыть глаза, как на затылке зашевелилось. Инстинкт. Тот самый, что у хирургов, матерей и женщин, бывших в браке.

Я приоткрыла один глаз. Потом второй. Потом резко повернула голову — и да, конечно.

Нет, формально-то одна. Но ощущения были, будто на меня уставился целый балкон театра — с биноклями, комментариями и фужером шампанского в каждой руке.

Где-то скрипнула мачта. Подозрительно скрипнула. Я прижала к груди колени, ощутив себя русалкой на сковородке.

— Так, — прошептала я. — Если где-то сейчас есть зрители, пусть знают: в следующую бочку я полезу уже с топором.

И да, это угроза.

Вода лениво пульсировала, пар обволакивал, но я всё ещё ощущала этот взгляд. Или два. Или десять.

Я глубже нырнула в воду, прижав к себе полотенце, как щит.

Умыться, сказала я себе. Просто умыться. Всё равно, что на палубе. Ну, подумаешь, XVIII век. Подумаешь, дыра между мирами. Подумаешь, бочка.

Я выдохнула, схватила мыло — и попыталась сосредоточиться.

Тело, каким бы чужим оно ни было, — всё ещё моё. А значит, моя забота. Моя крепость.

И, если надо, я отмою в нём не только грязь, но и прошлое.

И если кто-то сейчас подглядывает — пусть завидует.

Потому что я ещё никогда в жизни так отчаянно не стремилась стать собой. Хоть в бочке. Хоть под звёздами. Хоть с публикой.

Глава 6

Я приподняла голову. Осторожно, с видом кроткой нимфы, что просто моется в лесном источнике и вовсе не собирается закатывать истерику.

И вот он, видовой ряд. Над верхним краем парусины — головы. Несколько. И все как по заказу — мужские. С глазами в стиле «а чё, мы просто мимо шли». Один даже жевал что-то, чтобы создать иллюзию непричастности. Другой наклонился, будто у него что-то упало... куда-то прямо на мою сторону бочки.

И тут — вишенка на торт, свист.

Характерный. Такой, знаете, как в фильмах, когда женщина в купальнике проходит мимо стройки. Только я не в купальнике. Я в воде, мыле и ярости.

Я вскинула голову, как морская богиня, у которой отняли личное пространство и испортили ритуал омовения. В голосе моём было всё — гнев, сарказм, угроза и усталость врача после тридцатичасовой смены.

— Ещё раз свистнешь — сам будешь объяснять адмиралу, зачем сюда полез! — рявкнула я, сгорая от стыда и злости.

Головы тут же дёрнулись вниз.

Молчание.

Такое, что даже чайки, кажется, прекратили каркать.

Один из парусов слегка задрожал, и я поклялась — он покраснел. Да, не матрос. ПАРУС.

То ли от стыда, то ли от сочувствия.

Головы исчезли. Ворохом. С лёгким хлопком, как у фокусника, который понял, что финт не удался.

Я вдыхала. Медленно. Как дама, победившая флот с помощью слов и намёков на медицинские манипуляции.

Бочка качнулась, словно разделяя моё негодование.

— Вот и правильно, — выдохнула я, прижимая полотенце к груди. — Хоть что-то до вас доходит.

Я вздохнула.

Судя по всему, паровые ванны в этом мире — процедура публичная. Как казнь или коронация.

Но в следующий раз, решила я, только с охраной. И занавеской.

Железной.

И, может, с табличкой:

«Княгиня в процессе дезинфекции. Посторонним — мыло в глаз!»

Я уже почти смирилась с тем, что быть женщиной в восемнадцатом веке — это не про кружева и фанфары, а про бочку, подозрения в адрес парусов и философские разговоры с мылом, как вдруг услышала приближающееся шлёпанье босых ног. Топ-топ-топ — и, пожалуйста: на палубу, гордо неся два ведра, врывается Йосик.

Да, именно врывается, потому что грация у этого цыганёнка была как у балерины, у которой украли пуанты и оставили только темперамент.

— Княгиня, — выдохнул он, ставя ведра так, будто доставил амброзию самой Афродите. — Вода. Горячая. Как просили. И... полотенце!

Он вытянул перед собой нечто, напоминающее гибрид банного листа и занавески от театральной ложи. Сам стоял при этом, как младший святой — с глазами размером в блюдца и физиономией, на которой одновременно отразились ужас, восхищение и лёгкий интерес к биологии.

Я посмотрела на него. Он — на меня.

Я — в бочке, с мокрыми волосами, мылом в ухе и чувством, что больше никогда не смогу воспринимать тазик серьёзно.

Он — с полотенцем, полной уверенностью в собственной полезности и глазами, которые были слишком круглыми для приличной сцены.

— Вёдра ставь и отвернись, — попросила я раздражённо. — Йосик, правда. Мне неловко.

Йосик прыснул. Настояще-прямо-таки — прыснул. Не просто засмеялся — издал тот самый звук, каким смеются подростки, впервые услышав слово «панталоны» в контексте. И при этом, надо отдать ему должное, не уронил ни вёдер, ни собственного достоинства.

— Так вы, княгиня, и шутить умеете? — спросил он восхищённо, ставя вёдра вровень с бочкой и, внимание, прикрывая меня своей рубашкой. То есть, снял её, закрыл ею щель между полотнищами — и гордо скрестил руки на груди, как телохранитель на царской бане.

Вот за что я люблю детей и беспризорников — они всегда знают, как сделать, чтоб и неловко, и трогательно одновременно.

Этот мальчишка, с лицом уличного поэта и сердцем котёнка, вдруг стал для меня кем-то вроде младшего брата, которого мне забыли выдать при рождении. Или при переписывании судьбы.

— Спасибо, Йосик, — тихо сказала я.

Он кивнул — величественно, как султан, покидающий гарем.

И, мурлыча что-то на своём, явно волшебном, языке, удалился в закат. Ну, или в сторону камбуза — с походкой героя, спасшего даму в беде и полотенце от стыда.

И пока он шёл, в его шаге была такая победоносная гордость, что мне захотелось встать и заплодировать.

Но я осталась в бочке. С полотенцем. И — впервые за долгое время — с улыбкой. Настоящей. Не выученной. Не хирургической. А тёплой. Человеческой. И да — даже с пеной в ухе.

Только я решилась отдаться воде без остатка — ну, насколько это возможно, когда ты сидишь в деревянной бочке посреди парусного театра абсурда, — как в нижнем краю моего обзора промелькнуло нечто пушистое, юркое и подозрительно целеустремлённое.

Я замерла с мылом в руке и волосами, торчащими из головы, как пугало на реставрации.

— Оскар... — прошептала я с тем благоговейным ужасом, с каким археолог находит динамит в гробнице.

Он.

Мой персональный кошмар с хвостом.

Капуцин. Вор. Бунтарь. Пушистый божок мелкого саботажа.

Он полз по канату — грациозно, как балерина с когтями. Глаза горели. Хвост вилял, как у прожжённого шулера, который чувствует, что вот-вот сорвёт куш.

И мыло — моё, дорогое, последнее мыло на этом корабле — исчезло из моих рук, как демократия из дурной монархии.

— Оскар, нет! — зашипела я, пытаясь схватить негодяя.

Поздно.

Он уже отскочил на край бочки, окунул украденное мыло в воду и начал натираться.

С душой. С азартом. С глубоким, животным наслаждением.

Сначала пузо — круглыми движениями, как тесто для пирога. Потом уши — поочерёдно, с профессиональной методичностью. Потом хвост. Я даже не знала, что у хвоста столько поверхностей для обработки.

Он визжал, скрипел, урчал и, кажется, одновременно напевал гимн чистоты.

Я не выдержала.

Сначала икнула. Потом прыснула. А потом рассмеялась. По-настоящему. По-человечески. Так, что голос срывался в хрипы, слёзы щекотали веки, и вода вокруг начинала хлопать под ритм моего истерического счастья.

Передо мной сидел обезьяний Наполеон гигиены — весь в пене, с гордо поднятым подбородком и блестящими глазами. Он явно был доволен собой.

Сел прямо на край бочки. Надменно. С видом:

«Я чист. Вы грязны. Поклоняйтесь».

И знаете, в этот момент я поняла: пусть я в чужом теле, в чужом веке, с адмиралом, который ненавидит меня, и прошлым, которого не помню, — но у меня есть Оскар.

А значит, я не одна в этом дурдоме.

И уже за одно это можно было поблагодарить судьбу. Или того идиота, кто сунул меня в эту историю.

* * *

Он шёл мимо.

Нет, не просто мимо — как шёл бы адмирал, уверенный в маршруте, погружённый в мысли, обиженный на весь мир и особенно на одну конкретную женщину в теле ангела и с памятью пустого альбома.

Но на третьем шаге замедлился.

На пятом — чуть повернул голову.

На седьмом — остановился.

Он разнёсся по палубе, лёгким, искристым, как солнечные блики на волне. Не женский в привычном смысле — не жеманно-заливистый, не звенящий фарфором и кулончиками, а живой. Тёплый. Не из гордости и не ради эффекта — а от удовольствия, от глупости момента, от чистой, человеческой радости, которую не спрячешь и не прикажешь себе прекратить.

Он не узнал этот смех.

Но что-то в нём — щелкнуло.

Как в заевших часах, где стрелка вдруг сорвалась с мёртвой точки.

Словно он... слышал это когда-то. В другой жизни. Или в этой — но давно.

Когда ещё верил, что счастье бывает не только в приказах, а в утреннем кофе, в смазанном поцелуе и руке на плечо.

Он не подошёл.

Не выглянул из-за паруса.

Не окликнул.

Но стоял.

С каменным лицом и одинокой эмоцией, которая дрожала в уголке губ, как тень. Почти невидимая. Почти. Но была.

Он замирал так только в двух случаях: перед атакой и... когда держал в ладонях ребёнка впервые.

Теперь он стоял посреди корабля, глядя на бочку с паром, где плескалась та, кого он не мог простить...

и слушал.

Слушал, как она смеётся.

Тогда, в первые дни после рождения Лизы, он ещё не сомневался, что держит свою дочь. Подозрения пришли позже.

И вдруг — в один миг, в один удар сердца — он вспомнил.

Каково это — слышать жизнь.

И захотел...

нет, не вернуться. Не обнять.

Просто остаться. На секунду дольше.

И не говорить ничего.

* * *

Он возник, как шторм на горизонте: сначала тень, потом голос, и уже потом — взгляд, от которого хотелось либо сгореть, либо спрятаться в бочку обратно.

— Княгиня. — Голос холодный, как северный бриз по обнажённой шее. — Напомните мне, в каком уставе флота прописано, что жёны адмиралов моются на глазах у команды?

Я подняла голову, вцепившись в полотенце, как в последнюю моральную опору.

— А в каком уставе указано, что корабли не оборудованы хоть каким-то подобием душа? — невинно уточнила я. — Я, между прочим, пыталась соблюдать приличия. Охрану мне никто не поставил, парус натянули так, что любой желающий мог заглянуть сверху. Если уж на то пошло — половина вашей команды явно осталась под впечатлением. Так что... технически я повышаю боевой дух.

Он сузил глаза.

— Вы обязаны были уведомить меня. — Он едва сдерживал раздражение.

— А вы обязаны были родиться женщиной и попробовать отмыть волосы, когда вся палуба — это качающаяся ванна с мужскими взглядами вместо мыла! — Я вспыхнула, чувствуя себя несправедливо обвинённой.

— Вы поставили под угрозу дисциплину. — Он упрямо сжал губы.

— Вы поставили под угрозу моё терпение. — Я стиснула мокрое полотенце.

Он сделал шаг ближе. Я — ни на сантиметр назад. Даже несмотря на то, что полотенце начинало намекать, что оно не для ведения переговоров с мужчинами в мундире.

— В следующий раз, — процедил он, — такие действия будут согласованы со мной. Заранее.

— В следующий раз пусть мне дадут место, где можно закрыться, — ответила я, с трудом справляясь со злостью. — Я просила воды и немного уединения. Это так много?

Он замер. На миг. На полувздоха. А потом — коротко, почти незаметно — усмехнулся. Тонко. Уголком рта. Как будто кто-то на шхуне сыграл запрещённую ноту.

— Вы неисправимы, княгиня. — В голосе мелькнула невольная усмешка.

— А вы — невыносимы, адмирал. — Я сердито выдохнула.

И только Оскар в этот момент, словно специально, шлёпнулся с мачты прямо в бочку, подняв фонтан воды и сбив с обоих градус пафоса. Я фыркнула. Адмирал отвернулся, чтобы скрыть не то усмешку, не то раздражение.

— Наслаждайтесь, пока можете, — сказал он холодно, будто рубанул обухом по воде. — В ближайшем порту я высажу вас. Вас и... ребёнка.

Я выпрямилась, хотя полотенце, честно говоря, не способствовало героическим позам.

— И куда нам идти в незнакомом порту? — спросила я, чувствуя, как от обиды подступают слёзы. — С маленьким ребёнком и без денег?

Он вздрогнул. Едва заметно, но я уловила.

Холоднее он стал, чем надгробие, но глаза его — такие серые, как морская сталь перед бурей — сверкнули.

— Вы нарушили устав. Нарушаете дисциплину. Вы... — он запнулся, и я поняла, какое слово он сдержал. — Вы ведёте себя вызывающе. И да. Я отправлю вас домой.

— В тот дом, из которого я, по вашим словам, сбежала? — Я покачала головой. — Сначала разберитесь, что там произошло.

— Я не прошу оставить нас здесь навсегда, — добавила я уже тише. — Только не расправляйтесь нами, как лишним грузом.

— Прекратите говорить со мной в таком тоне, — рявкнул он. Не громко, но так, что палуба будто вздрогнула.

— Тогда услышьте, что я говорю, — ответила я, стараясь не сорваться. — Вы сердитесь на меня. Но Лиза не должна за это платить.

Он шагнул ближе. Дыхание его коснулось моего лба. Я сидела в бочке, вцепившись в полотенце.

— Вы не смеете... — Он осёкся, будто сам услышал, как это звучит.

— Я имею право хотя бы спросить, что вы собираетесь с нами делать, — перебила я, глядя ему в глаза.

Тишина. Между нами — как натянутый канат.

На одну секунду мне показалось, что он меня... не ударит, нет. Поцелует.

Но вместо этого он резко развернулся и ушёл. Плащ взметнулся. Каблуки застучали по доскам. Воздух остался тёплым от его гнева.

А я всё ещё сидела в бочке. Вцепившись в полотенце. С дрожащими пальцами. И чувством абсолютной победы.

Неполной. Но очень вкусной.

Я только собралась выдохнуть после своего «триумфа в полотенце», как из-за ширмы выскочил ураган. Вернее, ураган в кудряшках и с глазами, полными серьёзности до подбородка.

— Мам! А когда я буду купаться?! — спросила Лиза с тем самым упрямым выражением лица, которое не оставляло шансов ни дипломатии, ни физике, ни здравому смыслу.

Я моргнула.

Мокрая, злая, в перетянута́том полотенце, с ещё парящими волосами и лёгким ощущением, что недавно выиграла поединок у самого адмирала.

А она — бодро так, с полным доверием и правом на ответ.

— Сейчас и тебя вымоем, — ответила я, смягчившись от её нетерпения. — Только подождём свежей воды.

— Но... — я покосилась на бочку. — Мы сначала немного... дооборудуем. Потому что мама у нас человек терпеливый, а Лиза у нас... не для матросских глаз.

И вот тут появился он. Мой личный герой с ведрами, штанами и интуицией будущего торгового барона — Йосика.

— Йосика! — окликнула я, а он, словно выскочив из ящика с реквизитом, уже стоял рядом, потрёпанный, весёлый и вечно готовый к авантюре.

— Йосик, парусину нужно поднять выше, — попросила я, всё ещё злясь на любопытных матросов. — Принеси ещё полотнище и верёвку. И свежую воду для Лизы.

— Сейчас закреплю, госпожа, — отозвался он виновато и побежал за полотнищем.

Через десять минут на палубе кипела серьёзная операция под кодовым названием «Банная крепость».

Йосика обмотал бочку, как шпионский сундук. Обезьянка таскала прищепки. Я командовала, как генерал по благоустройству.

Парусина свисала со всех сторон, превращая бочку в шатёр восточной принцессы. Или ведьмы, решившей остепениться.

Лиза хлопала в ладоши.

Я устала. Но смеялась.

И чувствовала, как эта импровизированная баня — со всеми её верёвками, криками, плещущейся водой и облезлой мыльницей — становится настоящим домом.

Для нас двоих.

Впервые. Снова. И по-настоящему.

К обеду Йосик снова разыскал меня — уже без улыбки. Перед тем как увести к больному, он отвёл Лизу к Григорию: боцман пообещал присмотреть за ней у камбуза. От него я впервые услышала полное имя мужа — Климент Волконский. Для своих, когда не сердился, просто Клим.

Глава 7

Запах я почувствовала ещё на лестнице, ведущей в трюм. Сладковатый, тошнотворный, знакомый любому врачу как собственное имя. Запах гниющей плоти. Запах смерти, которая уже постучалась в дверь, но ещё не вошла. Пока не вошла.

— Что с ним? — спросила я у Йосика, который тащил меня за рукав, как спасательный круг за собой тонущего.

— Нога, княгиня, — выдохнул мальчишка, и лицо его было блее паруса на ветру. — Третий день горячка мучает. Бредит. А нога... нога чёрная стала.

Гангрена. Диагноз поставился сам собой, как пощёчина хорошему воспитанию. Сухая или влажная — надо смотреть. Но в любом случае — ампутация. Здесь, на корабле, без операционной, без нормальных инструментов, без антибиотиков. С одним только опытом, руками и молитвой к Богу, в которого я толком не верила, но к которому привыкла обращаться в критические моменты.

Матрос Фомич лежал в углу трюма на соломе, как выброшенная на берег рыба. Большой, косматый, с лицом, которое обычно светилося добродушием и сейчас пылало жаром. Левая нога от колена до стопы была завернута в грязные тряпки, от которых исходило зловоние преисподней.

— Когда это случилось? — спросила я, присаживаясь рядом с больным на корточки.

— Три дня назад, — ответил Йосик. — Пушечный лафет упал, ногу придавил. Корабельный лекарь посмотрел, сказал — заживёт. Промыл ромом, забинтовал. А вчера Фомич совсем плох стал.

Корабельный лекарь пропустил опасное ухудшение. Я злилась, но сейчас ругань ничего не исправляла: нужно было спасти человека.

— Принесите мне кипяток, — приказала я. — Много кипятка. И чистые тряпки — не те, которыми палубу моют, а те, которые для белья припасены. И ром. Самый крепкий, какой есть.

— Зачем ром? — удивился Йосик. — Он и так без сознания.

— Принеси всё, что осталось у лекаря для операций, — сказала я, сдерживая нетерпение. — И позови его самого. Одной мне здесь не справиться.

Йосик умчался, как угорелый. А я начала разворачивать бинты с ноги Фомича. То, что открылось под ними, могло довести до обморока кого угодно, кроме хирурга с двадцатилетним стажем.

Влажная гангрена. Классический случай. Нога от середины голени и ниже превратилась в месиво из гниющих тканей, кости торчали, как сломанные ветки дерева, а запах... Господи, даже я, привыкшая к самым жутким случаям, едва не зажала нос рукавом платья.

— Что здесь происходит?

Голос был холодный, как северный ветер, и знакомый, как собственное сердцебиение. Я обернулась — в проходе стоял Клим, высокий, строгий, с лицом, вырезанным из мрамора каким-то особенно угрюмым скульптором.

— Лечу вашего матроса, адмирал, — ответила я, не поднимаясь с колен. — Если, конечно, вы не возражаете.

Он шагнул ближе, взглянул на ногу Фомича — и поморщился. Даже он, выдавший виды военный, не мог спокойно смотреть на такое.

— Корабельный лекарь сказал, что всё заживёт, — произнёс он неуверенно.

— Ваш лекарь ошибся, — отрезала я. — Заражение распространяется. Без операции Фомич может не дожить до завтра.

— Заражение крови? — Клим нахмурился. — Что это такое?

Как объяснить сепсис человеку XVIII века?

— Гниль из раны попадает в кровь, — сказала я, продолжая осматривать ногу. — Разносится по всему телу. Человек умирает в муках. Чтобы этого не случилось, ногу надо отрезать. Выше места заражения.

— Ампутация... — Клим побледнел, глядя на матроса. — Неужели ногу уже не спасти?

— Я хочу спасти ему жизнь! — Я вскочила на ноги, и в голосе моём прозвучало столько ярости, что даже сама удивилась. — Посмотрите на него! Он умирает! А вы переживаете за то, что он останется калекой? Лучше живой калека, чем красивый покойник!

Клим молчал, глядя то на меня, то на стонущего Фомича. В его глазах я видела борьбу — между разумом и предрассудками, между доверием и недоверием.

— Вы умеете... отрезать ноги? — спросил он наконец.

— Я врач, — ответила я просто. — Настоящий врач. И да, я умею ампутировать конечности. Делала это много раз.

Правда, не на корабле XVIII века, без наркоза и стерильных условий. Но об этом он знать не обязан.

Йосик вернулся с помощниками и корабельным лекарем. Тот приволок свой ящик: ножи, хирургическая пила, иглы и перевязочный материал. Увидев ногу, он перестал спорить. У меня не было ни времени, ни желания торжествовать.

— Перенесём его сюда, к свету, — сказала я, показывая на расчищенный стол. — Нужны чистые руки, прокипячённые инструменты и бельё. И приготовьте всё для остановки крови.

— Зачем такие сложности? — поинтересовался один из матросов.

— Чтобы не занести в рану ещё больше грязи, — объяснила я, начиная мыть руки так тщательно, будто собиралась на приём к королю. — Чистота — это жизнь. Грязь — это смерть.

Клим наблюдал за приготовлениями молча, но внимательно. Я чувствовала его взгляд на себе — тяжёлый, изучающий. Он пытался понять, кто я такая на самом деле. Шарлатанка или целительница. Ведьма или просто женщина, которая знает больше, чем положено знать аристократке XVIII века.

— Помогайте мне удерживать его, — попросила я матросов, стараясь говорить ровно. — И следите за дыханием.

Фомич то стонал, то проваливался в забытие. Это не было обезболиванием — только ещё одним признаком того, насколько он плох. От этой мысли у меня похолодели пальцы.

Я взяла подготовленный нож и на секунду замерла. В голове остался только порядок действий, знакомый до последнего движения. Корабль качался; руки должны были оставаться точными.

Операция тянулась мучительно. Мы с лекарем останавливали кровотечение, я работала на границе здоровых тканей и всё время ловила краем глаза движение груди Фомича. Дышит. Ещё дышит.

— Боже милостивый, — прошептал кто-то из матросов.

— Молчать, — рявкнула я, не отрываясь от работы. — Сейчас самое сложное.

Когда понадобилась пила, лекарь подал её без напоминания. Я стиснула зубы. Сколько бы операций ни было за плечами, к этому звуку нельзя привыкнуть.

Когда-то за мной стояла целая операционная. Здесь — испуганный лекарь, двое матросов и ящик старых инструментов. Разница была страшнее качки.

— Чистую повязку, — попросила я, чувствуя, как дрожат от напряжения плечи.

Я ещё раз проверила, удалось ли остановить кровь, и убрала повреждённые ткани. Лить ром в открытую рану не стала: он не заменял тех средств, которых у меня здесь не было.

Мы закончили обработку и наложили повязку. Наглухо закрывать такую рану я не решилась. Всё это время Клим оставался рядом. Однажды я попросила инструмент, и он подал его раньше лекаря. Наши пальцы на секунду соприкоснулись. Он тоже боялся за Фомича — я поняла это по тому, как крепко он сжимал рукоять.

— Теперь будем наблюдать, — выговорила я, отирая пот со лба. — Повязки — чистые. При новом кровотоке или ухудшении сразу зовите меня. Рано считать, что опасность миновала.

— Он выживет? — спросил Клим, и я впервые услышала в его голосе беспомощность.

— Я сделала, что смогла, — ответила я, не отводя взгляда. — Но обещать не стану. Ближайшие дни решат многое.

Я поднялась с колен, ощущая, как ноют спина и руки. Только сейчас до меня дошло, что я только что провела ампутацию в условиях, которые в моём времени сочли бы варварскими. И пока не знала, удастся ли его выходить.

— Где вы этому научились? — спросил Клим тихо, когда мы вышли из трюма на палубу.

Я посмотрела на него — на строгое лицо, серые глаза, сжатые губы. В его взгляде было что-то новое. Не любовь, конечно. Не доверие. Но уже не презрение. Скорее... уважение. Осторожное, настороженное, но всё же уважение.

— Мне приходилось помогать больным, — ответила я, глядя на море. — Больше, чем вы можете представить.

— Помогать — не то же самое, что оперировать, — возразил он с тревожной настойчивостью. — Вы говорили, что делали это много раз.

Чёрт. Он слишком наблюдательный.

— Может быть, — уклончиво ответила я. — В прошлой жизни.

Он усмехнулся — едва заметно, одним уголком рта.

— В прошлой жизни, — повторил он. — Интересно. А кем вы были в прошлой жизни, княгиня?

Хирургом в московской больнице. Матерью, потерявшей дочь. Женщиной, которая разучилась плакать и смеяться. Человеком, который жил, но не был живым.

— Об этом я пока не могу говорить, — призналась я, чувствуя, как стыд жжёт щёки.

Мы стояли у борта, глядя на море. Ветер трепал мои волосы, паруса хлопали где-то над головой, чайки кричали за кормой. Обычный день на корабле. Но что-то изменилось. Что-то сдвинулось с мёртвой точки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.